

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
БОГА
АРГУМЕНТЫ УЧЕНОГО**

Francis S. Collins

**THE
LANGUAGE
OF GOD**

*A Scientist Presents Evidence
for Belief*

Free Press

NEW YORK LONDON TORONTO SYDNEY

Фрэнсис Коллинз

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

БОГА

АРГУМЕНТЫ УЧЕНОГО

Перевод с английского



Москва
2008

УДК 2-1; 141.4
ББК 86.2
К60

Переводчик М. Суханова

Коллинз Ф.

К60 Доказательство Бога: Аргументы ученого / Фрэнсис Коллинз ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2008. — 216 с.

ISBN 978-5-91671-010-6

Книга посвящена синтезу научного и религиозного мировоззрения. Фрэнсис Коллинз — один из ведущих американских генетиков, физик по первому образованию и верующий христианин — популярно излагает современные научные представления о происхождении Вселенной и жизни на Земле, о строении ДНК и рассматривает различные варианты соотношения их с религией: «научный атеизм», креационизм, теорию «разумного замысла» и, наконец, теистический эволюционизм, которого придерживается сам.

УДК 2-1; 141.4
ББК 86.2

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.

ISBN 978-5-91671-010-6 (рус.)
ISBN 978-0-7432-8639-8 (англ.)

© Francis S. Collins, 2006
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2008

Моим родителям, научившим меня любить учение

Содержание

Введение	9
----------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пропасть между наукой и верой

<i>Глава 1.</i> От безбожия к вере	17
<i>Глава 2.</i> Война мировоззрений.....	33

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Великие вопросы

<i>Глава 3.</i> Возникновение Вселенной	51
<i>Глава 4.</i> Жизнь на Земле.....	71
<i>Глава 5.</i> Расшифровка божественных чертежей	89

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вера в науку, вера в Бога

<i>Глава 6.</i> Книга Бытия, Галилей и Дарвин	115
<i>Глава 7.</i> Вариант 1: атеизм и агностицизм	125

<i>Глава 8.</i> Вариант 2: креационизм	133
<i>Глава 9.</i> Вариант 3: теория разумного замысла.....	139
<i>Глава 10.</i> Вариант 4: БиоЛогос.....	151
<i>Глава 11.</i> В поисках истины	163
<i>Приложение.</i> Соблюдение моральных норм в науке и медицине: биоэтика.....	177
Об авторе	205
Предметный указатель	206

Введение

ТЕПЛЫМ ЛЕТНИМ УТРОМ СПУСТЯ ВСЕГО ПОЛГОДА после начала нового тысячелетия человечество шагнуло в новую эру. Сообщение о событии исключительной важности облетело мир и попало практически во все газеты: получен первый вариант расшифровки генома человека — инструкции, описывающей наше с вами устройство.

Геном человека — это совокупность всех ДНК нашего вида, наследственный код жизни. В расшифрованном виде он представлял собой текст, записанный загадочным четырехбуквенным алфавитом и насчитывающий около 3 млрд знаков. Чтение этого текста со скоростью одна буква в секунду заняло бы 31 год, если бы продолжалось без перерыва день и ночь, а для его печати обычным шрифтом на бумаге стандартного формата понадобилась бы стопка листов высотой с монумент Вашингтона — настолько огромен объем информации, содержащейся в каждой клетке нашего тела. Проект по ее раскрытию занял более десяти лет.

Торжественная церемония, посвященная успешному завершению работ, проходила в Восточном зале Белого дома; рядом с президентом Биллом Клинтонем стояли я, руководитель международного некоммерческого проекта «Геном человека», и Крейг Вентер, глава конкурирующей частной компании, проводившей аналогичные исследования. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр был связан с нами по спутниковому каналу, и торжества проходили одновременно во многих частях света.

Президент начал свою речь со сравнения составленной нами карты генома человека и той карты новых земель, которую почти двести лет назад развернул в этом самом зале знаменитый путешественник Мэриуэзер Льюис перед президентом Томасом Джефферсоном. «Без сомнения, — сказал Клинтон, — это самая важная и самая дивная карта, какую когда-либо составляло человечество». Но более всего привлекла общее внимание та часть его речи, где он перешел от научного значения нашего проекта к его духовному аспекту. «Сегодня, — произнес он, — мы изучаем язык, посредством которого Бог создал жизнь. И мы испытываем еще большее благоговение перед сложностью и дивной красотой драгоценнейшего и священнейшего из Его даров».

Не оттолкнуло ли меня, ученого-естествоиспытателя, то, что лидер свободного мира в момент величайшего торжества науки делает заявление откровенно религиозного характера? Не нахмурился ли я невольно, не устал ли в пол? Вовсе нет. В действительности в лихорадочные дни, непосредственно предшествовавшие церемонии, я работал в тесном контакте с референтом Клинтона и от всей души приветствовал включение в речь этих слов, а в своем ответном выступлении откликнулся на них так: «Сегодня счастливый день для всего мира. Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены и которая до сих пор была известна одному лишь Богу».

Что же такое творилось в Восточном зале? Почему вдруг президент и ученый, взявшие на себя задачу объявить о крупнейшем достижении в биологии и медицине, захотели в связи с этим поговорить о Боге? Разве научное и религиозное мировоззрение не противоположны друг другу, разве можно соединять их в одной речи — тем более в Белом Доме? По каким причинам мы оба решили так поступить? Быть может, нас охватило поэтическое вдохновение? Или мы лицемерили, цинично заискивали перед верующими или перед критиками проекта, считающими, что расшифровка генома сведет человека к машине? Нет — по крайней мере, в моем случае точно нет. Я действительно рассматривал успешное картирование генома человека и дешифровку этого величайшего в мире текста одновременно и как потрясающее научное достижение, и как повод почтительно склониться перед Богом.

Такое сочетание переживаний многих озадачит — ведь обычно считается, что настоящий ученый не может всерьез верить в сверхъестественное. Эта книга написана с целью опровергнуть подобные представления и показать, что вера в Бога может быть результатом сознательного выбора

в рамках рационализма, а ее принципы фактически дополняют те, на которые опирается наука.

Согласно распространенному в наши дни мнению, синтез научного и религиозного мировоззрения невозможен, стремление к нему равносильно попытке свести в одну точку два полюса магнита. Тем не менее, немалое число американцев проявляет интерес к тому, чтобы сочетать в своей жизни оба мировоззрения. По результатам социологических опросов последних лет, 93% из них считают себя верующими (в той или иной форме); при этом они водят машины, пользуются электроэнергией, учитывают в своих планах прогнозы погоды, т. е. религиозность, очевидно, не мешает им принимать достижения науки, а значит, признавать научные истины в целом достоверными.

А что можно сказать о религиозности в научной среде? В действительности и среди ученых верующих намного больше, чем могло бы показаться. В 1916 г. биологам, физикам и математикам был задан вопрос о том, верят ли они в Бога, активно общающегося с людьми и способного услышать молитвы. Около 40% ответили утвердительно. И этот процент, к удивлению исследователей, оказался практически таким же в 1997 г., когда они задали ученым в точности тот же вопрос.

Так что же, никакой «битвы» между наукой и религией вообще не происходит? К сожалению, она вполне реальна, поскольку аргументы в пользу потенциальной гармонии часто не слышны за громогласными декларациями сторонников крайних точек зрения. Обе стороны ведут себя весьма агрессивно. Например, выдающийся эволюционист Ричард Докинз заявляет, что вера в эволюцию предполагает атеизм. Этим он по сути дела дискредитирует религиозные верования сорока процентов своих коллег, объявляя их сентиментальной чушью. До чего способен договориться Докинз, показывает такая цитата: «Вера — прекрасная отговорка, замечательное оправдание для того, чтобы избежать необходимости думать и оценивать доказательства. Она — убежденность вопреки отсутствию доказательств, а может быть, даже по причине их отсутствия... Вера, будучи убежденностью, не основанной на доказательствах, является главным злом всякой религии»¹.

Некоторые религиозные фундаменталисты, в свою очередь, нападают на научные методы, утверждая, что полученные с их помощью знания опасны и недостоверны, а единственное надежное средство раскрытия научной истины — это буквальная интерпретация священных текстов. Самым знаменитым сторонником таких взглядов был покойный Генри

¹ Dawkins R. Is Science a Religion? // The Humanist, 57 (1997), p. 26–29.

Моррис, автор следующих слов: «Ложь об эволюции доминирует в современной научной мысли и пронизывает все ее сферы. Отсюда с неизбежностью следует, что на эволюционизме лежит основная ответственность и за гибельные политические преобразования, и за повсеместно ускоряющееся разрушение нравственных устоев и обращение в хаос социальной жизни... Когда наука и Библия расходятся, это значит, что ученые неверно проинтерпретировали собственные данные»¹.

Какофония голосов, отстаивающих непримиримые позиции, приводит честных наблюдателей в смущение и уныние. Одни резонно заключают, что должны выбирать между двумя малоприятными крайностями, и, разочарованные в обеих, перестают доверять и выводам науки, и духовным ценностям, которые предлагает организованная религиозная жизнь, скатываясь в результате к антинаучному мышлению, поверхностной религиозности или просто к апатии. Другие решают отдать дань и вере, и научному знанию, но во избежание дискомфорта, связанного с очевидными конфликтами, отводят им не соприкасающиеся друг с другом сферы своего материального и духовного бытия. Так, покойный биолог Стивен Джей Гулд отстаивал точку зрения о том, что они должны занимать отдельные «непересекающиеся магистерии». Но и такой подход не решает проблему, он — потенциальный источник внутреннего конфликта, так как не дает принять во всей полноте ни науку, ни религию.

Оставляют ли современные знания в области космологии, эволюции и генетики человека возможность для богатого и гармоничного сочетания между научным и религиозным мировоззрением? Таков центральный вопрос этой книги, и я отвечаю на него решительным «да!». По моему мнению, здесь нет конфликта, можно одновременно быть ученым-естествоиспытателем, строго придерживающимся научных методов, и верить в Бога, интересующегося каждым из нас лично. Сфера науки — исследование природы, сфера Бога — духовный мир, в котором бессильны инструменты и язык науки. Этот мир нужно изучать сердцем, умом, душой, — и ум должен найти способ охватить обе сферы.

Я покажу, что две точки зрения — научная и религиозная — способны сосуществовать в пределах одной личности, обогащая и просвещая ее. Наука — единственный надежный путь познания природы, и ее инструменты при правильном применении позволяют нам глубоко проникать в суть материи. Но почему возникла Вселенная? В чем смысл человеческого существования? Что случается с нами после смерти? Поиск ответов на тако-

¹ Morris H.R. The Long War Against God. New York: Master Books, 2000.

го рода вопросы — одно из главных побуждений человечества, и здесь наука сама по себе нам не поможет. Чтобы охватить своим пониманием зримое и незримое, мы должны соединить мощь двух подходов — научного и религиозного. Моя цель — исследовать путь к трезвой и интеллектуально честной интеграции этих позиций.

Рассмотрение столь серьезных вопросов — беспокойное дело. Все мы, даже те, кто не употребляет этого слова, в свое время пришли к некоторому определенному мировоззрению. Оно помогает нам осмыслить окружающий мир, снабжает нас этической системой и руководит нашими решениями касательно будущего. Никакая попытка что-то изменить или подправить в собственном мировоззрении не дается легко. Соответственно, и книга, предлагающая бросить вызов чему-либо столь фундаментальному, может больше тревожить, чем утешать. Но в нас, людях, по-видимому, очень глубоко засело влечение к истине, хотя мы легко забываем о нем в повседневной суете. Мелочи, отвлекающие нас от главного, соединяются с подспудным нежеланием оценивать себя с нравственной точки зрения, и в результате мы способны проводить многие дни, недели, месяцы и даже годы без единой серьезной попытки задуматься о вечных вопросах человеческого бытия. В подобных обстоятельствах эта книга — довольно скромное противоядие, но, быть может, она побудит читателя к самостоятельным размышлениям и вызовет в нем желание всмотреться в суть вещей.

Первым делом я должен объяснить, каким образом ученый-генетик уверовал в Бога, не ограниченного ни временем, ни пространством, Бога, которому интересен каждый человек. Кто-то, наверное, уже решил, что я получил строгое религиозное воспитание и вера, привитая мне семьей и культурным окружением, осталась со мной на всю дальнейшую жизнь. Но в действительности со мной все было совсем не так.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Пропасть между наукой и верой

Глава 1

От безбожия к вере

МОЕ ДЕТСТВО БЫЛО ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ НЕОБЫЧНЫМ, но в том, что касается отношения к религии я, как сын свободомыслящих родителей, получил вполне стандартное современное воспитание — вопросам веры просто не придавалось много значения.

Я вырос на семейной ферме в долине реки Шенандоа в Вирджинии. Там не было водопровода в доме, и в целом материальные условия не отличались особым комфортом, но это с лихвой компенсировалось той удивительной культурной средой, которую создали вокруг себя мои родители, обилием впечатлений и возможностей.

Мои мать и отец познакомились в аспирантуре Йельского университета в 1931 г. и вместе вступили в экспериментальную общину Артурдейл в Западной Вирджинии, гдегодились их организационные таланты и любовь к музыке. Участники эксперимента, начатого по инициативе Элеоноры Рузвельт, пытались в самый разгар Великой депрессии возродить к жизни пришедший в упадок шахтерский поселок.

Однако у других советников из администрации Рузвельта были свои идеи, и финансирование вскоре иссякло. В итоге эксперимент закрыли, а мои родители на всю оставшуюся жизнь сохранили подозрительное отношение к правительственным инициативам. Они поступили преподавателями в Элон-колледж в Берлингтоне, Северная Каролина. Там, соприкоснувшись с дикой и прекрасной народной культурой деревенского Юга,

мой отец стал собирателем фольклора. Он путешествовал по холмам и лощинам с фонографом Presto, убеждая неразговорчивых местных жителей петь в микрофон. Его записи, наряду с еще более обширным собранием Алана Ломакса, составили существенную часть нынешней коллекции американских народных песен в Библиотеке конгресса США.

Вторая мировая война заставила отца оставить музыкальные занятия ради более важных и срочных задач — он поступил на авиационный завод в Лонг-Айленде, выпускавший бомбардировщики, и дослужился на нем до мастера.

В конце войны мои родители пришли к выводу, что напряженная деловая жизнь не для них. Опережая свое время, они в сороковые годы поступили по модели шестидесятых — отправились в долину Шенандоа в Вирджинии, купили ферму с участком в 95 акров и попробовали жить на ней простой жизнью земледельцев без использования сельскохозяйственной техники. Всего через несколько месяцев отцу стало ясно, что двух сыновей-подростков ферма не прокормит (а вскоре предстояло появиться на свет еще одному моему брату и мне), и он устроился на работу в местный женский колледж преподавать драматическое искусство. Отец набрал в городке нескольких актеров-мужчин, и вместе с ученицами они с большим удовольствием ставили спектакли. А поскольку артисты и зрители жаловались на долгий скучный перерыв летом, мать с отцом организовали летний театр, который стал давать представления в дубовой роще, расположенной над нашим домом. Театр в дубовой роще — так он называется — действует до сих пор, на протяжении уже более чем пятидесяти лет не пропустив ни одного сезона.

Я родился в этой счастливой обстановке, где с раннего детства меня окружали сельская красота, тяжелый фермерский труд, летний театр и музыка. Поскольку я был младшим из четырех мальчиков, родители могли предвидеть большинство моих проблем и понимали, как с ними справляться. Я рос с общим ощущением, что нужно отвечать за свое поведение и свои решения, поскольку никто другой за тебя этого делать не станет.

Сначала меня, как и моих старших братьев, учила дома мать, обладательница выдающегося педагогического дарования. Ранние годы принесли мне бесценный дар — радость учения. У матери не было ни расписания занятий, ни планов отдельных уроков: она с поразительным чутьем угадывала темы, способные увлечь ребенка, вела их интенсивное изучение до логического завершения, а затем переключалась на что-то другое, не менее волнующее. Я всегда учился потому, что мне это нравилось, а не по обязанности.

Вера не была существенной составляющей моего детства. Я имел некоторое неотчетливое представление об идее Бога, но мое собственное общение с Ним сводилось к детским сделкам по поводу того, чего мне очень хотелось. Помню, как я заключил договор с Богом (мне тогда было около девяти): пусть Он сделает так, чтобы в субботу во второй половине дня не пошел дождь и не сорвал представление и музыкальный вечер, по поводу которых я особенно волновался, а я за это обещаю никогда не курить сигареты. Дождя в самом деле не случилось, и я не курю. Еще раньше, в пятилетнем возрасте, родители решили записать меня и ближайшего ко мне по возрасту брата в хор мальчиков при местной епископальной церкви. Однако они дали нам понять, что делают это ради нашего музыкального образования, а богословским моментам не стоит придавать особенного значения. Я следовал этим указаниям, стараясь освоить великолепие гармонии и контрапункта, а религиозные истины, провозглашаемые с кафедры, протекали через мои уши, не оставляя сколько-нибудь заметного следа в душе.

Когда мне исполнилось десять, мы переехали в город, чтобы находиться рядом с бабушкой, которая в то время болела, и я стал ходить в школу. В четырнадцать лет у меня раскрылись глаза на удивительные по мощи и красоте методы научного исследования. На уроках химии, преподаватель которой поражал нас умением писать на доске одновременно обеими руками, я впервые понял, какой восторг внушает гармония миропорядка. Тот факт, что все вещества состоят из атомов и молекул, построенных согласно строгим математическим принципам, стал для меня неожиданным открытием, а осознав возможность получать с помощью научных инструментов новые знания о природе, я сразу почувствовал, что хочу в этом участвовать. Химия была моим первым увлечением, и, хотя о других науках мне было известно сравнительно немного, я решил стать химиком.

Биология в то время оставляла меня совершенно равнодушным. Мне казалось, что ее изучение заключается скорее в механическом зазубривании бесчисленных фактов, чем в разъяснении принципов. Меня не интересовало особенно ни строение ракообразных, ни разница между типом, классом и отрядом. Сложность живого мира ошеломляла, и я воспринимал биологию как нечто совершенно невразумительное, вроде философии экзистенциализма. Моему формирующемуся сознанию было свойственно все упрощать, так что биология казалась мне нелогичной и в силу этого малопривлекательной.

В шестнадцать лет я окончил школу и поступил в Университет штата Вирджиния с намерением заниматься химией и в дальнейшем делать научную карьеру. Как большинство первокурсников, я с воодушевлением

окунулся в новую среду, днем и ночью переполненную множеством носящихся в воздухе идей. Конечно, мы обсуждали и вопросы, связанные с существованием Бога. В раннем отрочестве мне случалось испытывать тягу к чему-то вне меня, часто связанную с красотой природы или особенно глубоким музыкальным переживанием. Тем не менее мое религиозное чувство было еще очень неразвито, и мне нелегко было отстаивать его в споре с одним-двумя воинствующими атеистами, какие найдутся почти в любом студенческом общежитии. Через несколько месяцев пребывания в колледже я стал считать, что, хотя многие религиозные верования дали начало интересным традициям в культуре и искусстве, они не содержат основополагающей истины.

Таким образом, я сделался агностиком, хотя сам термин, изобретенный в XIX в. ученым Томасом Хаксли (Гексли) и обозначающий человека, просто не знающего, есть ли Бог, был мне в то время неизвестен. Существуют разные виды агностицизма: некоторые приходят к нему в результате тщательного анализа действительности, но для очень многих это просто удобная точка зрения, позволяющая не думать о тревожащих вопросах. Я определенно принадлежал к этой второй категории. В действительности мое «не знаю» было больше похоже на «не желаю знать». Мне, молодому человеку, растущему в полном соблазнов мире, не хотелось чувствовать ответственность перед каким бы то ни было высшим духовным авторитетом. Фактически это был тот самый образ мыслей и поведения, который знаменитый философ и писатель Клайв Стейплз Льюис назвал «добровольным ослеплением».

После окончания колледжа я поступил в аспирантуру Йельского университета и приступил к работе над диссертацией по физической химии. Как и прежде, меня влекло математическое изящество этой области науки. Я с головой окунулся в квантовую механику и дифференциальные уравнения второго порядка, а моими кумирами были в то время великие физики — Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и Поль Дирак. Постепенно я пришел к убеждению, что все во вселенной объяснимо с помощью уравнений и основных принципов физической науки. Я прочитал биографию Эйнштейна и узнал, что он не верил в Яхве, бога еврейского народа, хотя и занял после Второй мировой войны твердую сионистскую позицию. Это еще больше укрепило меня во мнении, что ни один думающий ученый не может всерьез рассматривать возможность существования Бога, не совершив своего рода интеллектуальное самоубийство.

Так я постепенно перешел от агностицизма к атеизму. Мне нравилось оспаривать религиозные верования всякого, кто упоминал о них в моем

присутствии, высмеивая их как сентиментальность и отживший предрас-судок.

После двух лет занятий в аспирантуре мой расписанный до мелочей план начал разваливаться. Несмотря на радость, которую доставляла мне работа над диссертацией по теоретической квантовой механике, я начал сомневаться в правильности сделанного выбора. Крупные достижения в этой области относились по большей части к периоду пятидесятилетней давности, так что весь мой будущий вклад в науку с большой вероятностью свелся бы к упрощениям и приближениям, лишь незначительно продвигающим нас к решению элегантных, но «неподдающихся» уравнений. С практической точки зрения это неизбежно означало карьеру профессора, год за годом читающего бесконечные лекции по термодинамике и статистической механике студентам, которым эти предметы внушают скуку, страх или оба этих чувства одновременно.

Примерно в то же время в попытке расширить свой кругозор я записался на курс биохимии, приобщившись таким образом к биологическим наукам, которых прежде старательно избегал. Курс совершенно меня потряс. Непонятное мне до тех пор строение ДНК, РНК и белков предстало передо мной во всем своем математическом великолепии. Благодаря открытию генетического кода биология стала наукой, в которой возможно применение строгих научных принципов, — напрасно это казалось мне невыносимым! А новые методы соединения между собой разных фрагментов ДНК (рекомбинации ДНК) создавали вполне реальную перспективу применения полученных знаний для блага людей. Я был поражен: оказывается, в биологии все же есть математическое изящество, в котором я ей так упорно отказывал. Жизнь осмысленна.

Одновременно я, двадцатидвухлетний, но уже женатый молодой человек и отец умной любопытной девочки, становился все более общительным. Раньше я часто предпочитал оставаться в одиночестве, теперь мне сильнее хотелось быть с людьми и внести свой вклад в жизнь человечества. Осмыслив произошедшие во мне перемены, я стал пересматривать все свои решения, принятые ранее, включая и сам выбор в пользу научно-исследовательской работы. Диссертация была уже почти готова, и тем не менее после напряженных раздумий я подал заявление о приеме в медицинский колледж. Я произнес перед членами приемной комиссии тщательно продуманную речь, в которой пытался убедить их, что такой поворот событий — в действительности естественный путь подготовки будущего американского врача. В душе я не был так уж в этом уверен. Ведь биология когда-то была мне ненавистна из-за необходимости заучивать множество

вещей, а какая наука требует больше запоминания, чем медицина? Однако ситуация переменилась: я собирался изучать человека, а не краба; знал, что детали определяются базовыми принципами; верил, что мои занятия могут в итоге принести реальную пользу людям.

Через несколько недель пребывания в Университете штата Северная Каролина я уже твердо знал, что медицинский колледж — именно то место, где мне следует находиться. Мне нравились и задания, требующие напряженной умственной работы, и необходимость думать над сложными проблемами, связанными с этикой, и непредсказуемость человеческого фактора, и невообразимая сложность нашего тела. В декабре своего первого года занятий медициной я понял, как соединить мою новую любовь — медицину — со старой — математикой. Путь мне указал суровый и довольно неприветливый педиатр, читавший нам, первокурсникам, курс медицинской генетики общей продолжительностью шесть часов. Он доставил в аудиторию пациентов, болезни которых — серповидноклеточная анемия, галактоземия (непереносимость молочных продуктов, нередко фатальная) и синдром Дауна — были вызваны отклонениями в геноме, иногда крошечными — всего в одной букве кода.

Изящество генетического кода и последствия редких сбоев в механизме копирования произвели на меня сильнейшее впечатление. Хотя возможность на практике помочь многим и многим людям, страдающим наследственными заболеваниями, представлялась весьма отдаленной, меня сразу потянуло в эту сферу. Конечно, в то время никто еще не задумывался о возможности чего-либо столь грандиозного по замыслу и последствиям как полная расшифровка генома человека, но именно тогда, в декабре 1973 г., я вступил на дорогу, которая со временем привела меня к участию в одном из самых великих деяний в истории человечества.

На третьем курсе у нас началась интенсивная медицинская практика. Как будущие врачи, студенты-медики оказываются в максимально близких отношениях с людьми, прежде им абсолютно чужими. Доктор вступает с пациентом в физический контакт, и культурные барьеры, в обычной ситуации мешающие обмену интимной информацией, рушатся. Таковы издавна чтимые отношения между больным и целителем. Общение со страдающими и умирающими людьми производило на меня сильнейшее впечатление; мне лишь с большим трудом удавалось сохранять профессиональную дистанцию и сдерживать эмоции, к чему призывали нас многие из преподавателей.

Разговаривая с больными, я глубоко поражался тому, как проявляется в тяжелых обстоятельствах вера этих простых жителей Северной Каролины.

Много раз мне доводилось наблюдать людей, которым вера придавала мужества, помогая переносить ужасающие — и в большинстве случаев ничем не заслуженные — мучения. Отсюда я заключил, что если вера — психологическая подпорка, то, безусловно, очень мощная. И это не просто дань уважения культурной традиции — иначе почему мои пациенты не злятся на Бога, не требуют от друзей и близких прекратить какие бы то ни было разговоры о любящей и милосердной сверхъестественной силе?

Хуже всего мне пришлось, когда пожилая женщина, страдающая тяжелой неизлечимой формой стенокардии, спросила меня о моей вере. У нее было на то полное право: мы успели уже обсудить много важных тем, касающихся жизни и смерти, и она — верующая христианка — рассказала мне о своих религиозных воззрениях. Пробормотав «я на самом деле не уверен», я почувствовал, что краснею. Пациентка искренне удивилась, и мне стало еще более неловко. Я понял, что почти все свои двадцать шесть лет убежал от этого вопроса — ведь я ни разу по-настоящему не обдумывал доводы за и против веры.

Несколько дней тот случай не давал мне покоя. Разве я не ученый? Разве настоящий ученый делает выводы, не проанализировав данные? Разве вопрос о существовании Бога — не самый важный для человеческого бытия? И все же сочетание добровольного ослепления с чем-то еще, что правильнее всего было бы назвать самоуверенностью, мешает мне всерьез рассматривать самую возможность того, что Бог есть. Внезапно все мои аргументы утратили силу, и ощущение было такое, как будто лед трескается у меня под ногами.

Я ужаснулся: что же получается? Если я не могу больше поручиться за твердость своих атеистических взглядов, следует ли мне взять на себя ответственность за поступки, о которых я предпочел бы никому не рассказывать? Отвечаю ли я за них перед кем-нибудь, кроме себя самого? Уходить от вопроса, как я делал это раньше, теперь стало невозможно.

Поначалу я не сомневался, что полное исследование рациональных оснований для веры приведет меня к отрицанию ее преимуществ и укрепит мою атеистическую позицию. Однако у меня было твердое намерение взглянуть на факты, независимо от того, к какому результату это приведет. Первым делом я стал бегло знакомиться с главными религиями мира, и то, что я узнал о различных верованиях по изложению в учебных пособиях CliffsNotes (читать подлинные священные тексты мне было слишком трудно), привело меня в смущение. Многое осталось для меня полной загадкой, и я не находил серьезных причин принять тот или иной вариант религиозных воззрений, выделив его из всех прочих.

Я сомневался в том, что хоть в какой-то религии у веры в сверхъестественное есть рациональное основание. Но вскоре ситуация перевернулась. Навещая жившего неподалеку помощника священника из методистской церкви, я спросил его, есть ли в вере какой-то логический смысл. Он терпеливо выслушал мою бессвязную (и, возможно, кощунственную) невнятицу, после чего взял со своей полки маленькую книжечку и предложил мне ее прочесть.

Это была работа К.С. Льюиса «Просто христианство». В следующие несколько дней, переверачивая страницы книги, стараясь впитать в себя широту и глубину интеллектуальных доводов, изложенных этим легендарным оксфордским филологом, я осознал, что все мои построения, опровергающие веру, — совершенно детские. Очевидно, размышления над самым важным из человеческих вопросов следовало начинать заново. Льюис, казалось, знал наперед мои возражения, предугадывал их еще до того, как мне самому удавалось отчетливо их сформулировать, и неизменно обращался к ним на ближайших страницах. Позднее я понял, каким образом Льюис с такой точностью определил ход моих мыслей: он тоже был атеистом, поставил себе задачу опровергнуть веру с помощью логических рассуждений и в итоге пришел к христианству. Я повторял его собственный путь.

Довод, в наибольшей степени привлечший мое внимание и поколебавший самую основу моих представлений о науке и религии, содержался непосредственно в названии первой книги: «Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной». Хотя описанный Льюисом «нравственный закон» во многих отношениях универсален для человеческого бытия, некоторые его аспекты открылись для меня как будто впервые.

Для понимания Нравственного закона полезно вслед за Льюисом посмотреть на то, как люди сотнями разных способов апеллируют к этому закону, не ссылаясь на него прямо. Разногласия — часть нашей повседневной жизни. Иногда они возникают по мелким поводам — скажем, жена упрекает мужа за грубость по отношению к ее приятельнице, или ребенок жалуется, что «это нечестно», когда на дне рождения не поровну разделят мороженое. Бывают и более серьезные споры. Например, в политической сфере одни считают, что долг США — распространять во всем мире демократию, в том числе и с применением военной силы, другие — что Америке не следует оказывать на другие страны одностороннее военное или экономическое давление, так как это подрывает ее международный авторитет.

В области медицины сейчас идут яростные споры о том, допустимо ли изучение эмбриональных стволовых клеток человека. Противники это-

го направления утверждают, что подобные исследования покушаются на святость человеческой жизни, сторонники доказывают, что возможность облегчить страдания людей дает им моральное право продолжать работы. (Эта тема наряду с несколькими другими вопросами биоэтики обсуждается в приложении, см. с. 184–189.)

Заметим, что во всех этих примерах обе спорящие стороны очевидным образом обращаются к некоторому неназываемому высшему стандарту. Это и есть Нравственный закон, или «закон о правильном поведении». Его авторитет, по-видимому, неоспорим, обсуждается лишь то, какая из альтернатив ближе к его требованиям. Люди, обвиненные в несоблюдении Нравственного закона (как муж, обидевший приятельницу жены), обычно стараются как-то оправдаться, защититься, но практически никогда не заявляют: «К черту эту твою концепцию правильного поведения!»

И вот что интересно: понятие о добре и зле свойственно всем представителям рода человеческого (хотя воплощается очень различно, иногда с чудовищными на наш взгляд последствиями). Таким образом, это явление похоже на закон природы, такой же, как закон всемирного тяготения или постулаты специальной теории относительности. Но если мы честны перед собой, то вынуждены будем признать, что данный закон, в отличие от законов физики, с поразительной регулярностью нарушается.

Насколько я могу судить, Нравственный закон действует только у людей. Хотя у других видов попадаются проблески нравственного сознания, они не имеют широкого распространения, и во многих случаях поведение животных резко противоречит нашим понятиям о добре. Ученые обычно включают умение различать добро и зло в перечень отличительных признаков *Homo sapiens*, наряду с такими особенностями, как членораздельная речь, осознание себя и наличие представления о будущем.

Но является это знание добра и зла природным качеством человека или оно внедрено в нас культурными традициями? По мнению некоторых исследователей, нормы поведения в различных культурах так несхожи между собой, что любой вывод о существовании общего Нравственного закона лишен оснований. Льюис, занимавшийся очень многими культурами, называет такие заявления «ложью, вопиющей ложью». Он пишет: «Если отправиться в библиотеку и провести несколько дней за чтением “Энциклопедия религии и этики”, вскоре станет очевидным величайшее единодушие людей в практических вопросах. Вавилонские гимны и законы Ману, египетская Книга мертвых и “Беседы и суждения” Конфуция, стоики и платоники, мифы аборигенов Австралии и Америки с одинаковой торжественной монотонностью осуждают угнетение, убийство, предательство,

обман, одинаково предписывают помогать старикам и детям, немощным и слабым, творить милостыню, блюсти беспристрастие и честность»¹.

В некоторых своеобразных культурах Нравственный закон может проявляться и в диких уродливых формах — таких как сожжение ведьм в Америке XVII в. И все-таки, как становится ясно при пристальном изучении, даже эти явные отклонения должны рассматриваться не как несоблюдение, а как соблюдение закона, только при ошибочном понимании того, что есть добро, а что — зло. Тому, кто твердо верит, что ведьма — это воплощение самого Зла и земной посланец дьявола, жестокость по отношению к ней будет казаться оправданной.

Здесь я остановлюсь и замечу, что вывод о существовании Нравственного закона противоречит современной постмодернистской философии, согласно которой абсолютного добра и зла не существует, а вся нравственность относительна. Эта точка зрения, как представляется, широко распространена среди философов, но непонятна большинству обычных людей и логически противоречива. Если нет абсолютной истины, может ли быть истинным сам постмодернизм? В самом деле, если нет ни добра, ни зла, обсуждение вопросов этики вообще не имеет смысла.

Еще одно возражение исходит от социобиологов, по мнению которых альтруистическое поведение способно выступать как положительный фактор естественного отбора, а значит, Нравственный закон мог возникнуть просто в результате действия законов эволюции. Если бы им удалось это доказать, многие требования Нравственного закона уже нельзя было бы интерпретировать как несомненное свидетельство существования Бога, поэтому я остановлюсь на данном объяснении более подробно.

Рассмотрим один из главных примеров действия Нравственного закона — альтруистический импульс, зов совести, силу, которая повелевает нам помогать другим, даже не получая ничего взамен. Разумеется, не все требования этого закона сводятся к альтруизму — например, если кто-то слегка исказит факты при заполнении налоговой декларации, он может почувствовать укол совести, хотя вряд ли будет воспринимать свой поступок как нанесение вреда какому-то конкретному другому человеку.

Во-первых, давайте уточним предмет нашего обсуждения. Я не рассматриваю модель поведения «почеши мне спину, а потом я тебе», когда доброе дело совершается в расчете на ответные благодеяния. Альтруизм — более интересное явление: это подлинно бескорыстная самоотдача без всяких вторичных мотивов. Такого рода любовь и великодушные вызывают

¹ Lewis C.S. The Poison of Subjectivism. // Lewis C.S. Christian Reflections, ed. by Walter Hooper. Grand Rapids: Eerdmans, 1967. P. 77.

благоговение. Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны с огромным риском для жизни укрыл от нацистских преследований и спас от истребления более тысячи евреев, а в итоге умер в нищете, — и мы не можем не восхищаться им. Мать Тереза, безусловно, входит в число наиболее уважаемых и почитаемых наших современников, хотя ее добровольная нищета и самоотверженное служение больным и умирающим в Калькутте составляют разительный контраст с материалистической системой ценностей, преобладающей в нынешней культуре.

В некоторых случаях альтруистическое поведение может проявляться даже по отношению к заклятому врагу. Сестра Джоан Читтистер, монахиня ордена бенедиктинцев, пересказывает следующую суфийскую притчу.

В давние времена одна старая женщина имела обыкновение медитировать на берегу Ганга. Как-то утром, закончив свои медитации, она увидела скорпиона, беспомощно барахтающегося в быстром потоке. Затем течение отнесло скорпиона ближе к берегу, и он запутался в корнях, свисавших в воду. Несчастное существо отчаянно пыталось высвободиться, но лишь крепче запутывалось. Старая женщина немедленно протянула руку к тонущему скорпиону, но как только она до него дотронулась, тот ужалил ее в руку. Тогда женщина отдернула руку, восстановила равновесие и снова попробовала спасти скорпиона. Но при каждой попытке хвост скорпиона с такой силой жалил ее, что ее руки начали кровоточить, а лицо исказилось от боли. Мимо шел прохожий; увидев, как старуха старается вытащить скорпиона, он закричал: «Что ты делаешь, безумная? Неужели ты хочешь убить себя, чтобы спасти эту уродливую тварь?» Та посмотрела ему в глаза и ответила: «В природе скорпиона — жалить, в моей — спасать. Почему же мне из-за его природы отвергать свою?»¹

Этот пример может показаться утрированным — немногие из нас действительно согласились бы подвергнуть себя опасности ради спасения скорпиона. Но наверняка большинству из нас знакомо импульсивное желание помочь чужому человеку в его нужде, даже если мы от этого заведо-

¹ J. Chittister in F. Franck, J. Roze, and R. Connolly (eds.), *What Does It Mean To Be Human? Reverence for Life Reaffirmed by Responses from Around the World*. New York: St. Martin's Griffin, 2000. P. 151.

мо ничего не выиграем. И в случае, когда мы действительно это делали, мы часто испытывали потом радостное чувство «правильного поступка».

К.С. Льюис в своей замечательной книге «Любовь» подробно исследует природу этой разновидности бескорыстной любви, которую называет милосердием. По Льюису, милосердие принципиально отличается от привязанности, дружбы и романтической любви, которые можно интерпретировать как взаимовыгодные отношения и аналоги которых мы наблюдаем у других (отличных от человека) видов живых существ.

Милосердие, или бескорыстный альтруизм — главная трудность для эволюционистов. Данный тип поведения абсолютно не укладывается в их упрощенную аргументацию, так как его нельзя объяснить стремлением эгоистичных генов индивида к самосохранению. Совсем наоборот: альтруизм может повлечь страдания, увечья, даже смерть, и нет никаких признаков того, что он чем-то выгоден. И все-таки если внимательно исследовать этот внутренний голос, который мы иногда называем совестью, то становится ясно, что стремление следовать ему присутствует во всех нас, хотя мы часто противимся таким порывам.

Социобиологи, в частности, Э.О. Уилсон, пытались объяснить альтруистичное поведение индивида некоторой косвенной репродуктивной выгодой для него, но эти доводы малоубедительны. Например, предположение о том, что систематически проявляемый альтруизм мог выступать как положительный признак при выборе партнера, не подтверждается фактами поведения обезьян — ближайших родственников человека. У них нередко наблюдаются противоположные явления, такие как убийство детенышей новым самцом-доминантом, расчищающим путь для будущего собственного потомства. Другая гипотеза — что альтруисты в ходе эволюции получали от своего поведения некие встречные косвенные выгоды — не объясняет мотивов мелких добрых дел, о которых никто не знает. Кроме того, есть еще аргумент, что альтруистичное поведение членов группы выгодно для группы в целом. Социобиологи ссылаются здесь на муравейники, где стерильные рабочие особи непрестанно трудятся ради того, чтобы матка смогла произвести больше потомства. Но этот «муравьиный альтруизм» объясняется в рамках эволюционного учения тем, что рабочие муравьи обладают в точности такими же генами, как и те, которые матка передаст следующим своим потомкам. В данном случае мы имеем дело с нестандартной прямой связью на уровне ДНК, в то время как в более сложных популяциях отбор работает на уровне особей, а не групп, — таково общее мнение практически всех эволюционистов. Поведение рабочих муравьев определяется инстинктом, в корне отличным от внутреннего голоса, побуждающего меня прыгнуть

в реку, где тонет неизвестный мне человек, даже если я плохо плаваю и в результате сам могу погибнуть. Далее, альтруистичное поведение, выгодное для группы, казалось бы, предполагает противоположное, т. е. враждебное отношение к тем, кто в группу не входит. Примеры Оскара Шиндлера и матери Терезы доказывают обратное. Поразительным образом, Нравственный закон предлагает мне спасти тонущего, даже если это враг.

Что же делать с Законом человеческой природы, если его примитивное объяснение как порождения культуры или побочного продукта эволюции не проходит? Здесь явно творится что-то необычное. Цитируя Льюиса, «если бы за пределами Вселенной существовала какая-то контролирующая сила, она не могла бы показать себя нам в виде одного из внутренних элементов, присущих Вселенной, как архитектор, по проекту которого сооружен дом, не мог бы быть стеной, лестницей или камином в этом доме. Единственное, на что мы могли бы надеяться, это то, что сила эта проявит себя внутри нас в форме определенного влияния или приказа, стараясь направить наше поведение в определенное русло. Но именно такое влияние мы и находим внутри себя. Не правда ли, такое открытие должно было бы пробудить наши подозрения?»¹

Столкнувшись с этим рассуждением в двадцатипятилетнем возрасте, я был сражен его логикой. Нравственный закон всегда прятался в моем сердце, знакомый и привычный, как любой элемент повседневного опыта, но теперь он впервые выступил как разъясняющий принцип, осветил ослепительным белым светом темные закоулки моего ребяческого атеизма и потребовал серьезно задуматься. Что это — взгляд Бога?

А если так, то какого Бога? Очевидно, не Бога деистов, в которого верил Эйнштейн, — Бога, который создал законы физики, математики и около 14 млрд лет назад привел Вселенную в движение, а затем удалился, чтобы заняться другими, более важными делами. Если я ощущаю Его присутствие, это должен быть Бог теистов, тот, что желает каким-то образом взаимодействовать с особенными существами — людьми — и для этого вложил в каждого из нас некое представление о Себе. Возможно, это Бог Авраама, но никак не Бог Эйнштейна.

Из этого растущего ощущения реальности Бога вытекало и еще одно немаловажное следствие. Судя по невероятно высоким стандартам Нравственного закона, который я, как приходилось признать, на практике постоянно нарушаю, Бог свят, праведен и является воплощением добра, а зло Ему ненавистно. При этом не было причин предполагать в Боге какую-

¹ C.S. Lewis. *Mere Christianity*. Westwood: Barbour and Company, 1952. P. 21.

либо снисходительность или попустительство. Постепенное осознание того, что Он может существовать, вызывало противоречивые чувства: мне было отраднo преклоняться перед широтой и глубиной Высшего сознания, но собственные изъяны, отчетливо выступившие в этом новом свете, приводили меня в смятение.

Итак, я пустился в интеллектуальный поиск, чтобы подтвердить свой атеизм, а в итоге от моих прежних взглядов не осталось камня на камне. Доводы, основанные на Нравственном законе, наряду с другими соображениями, заставили меня признать вероятность гипотезы Бога. Агностицизм, который, как я думал, послужит мне надежным запасным убежищем, оказался всего-навсего распространенной отговоркой. Вера в Бога теперь представлялась более рациональной, чем неверие.

Мне, кроме того, стало ясно, что наука, несмотря на свою бесспорную мощь в раскрытии тайн природы, не продвинет меня в решении вопроса о Боге. Если Бог есть, то находится вне природы, поэтому Его невозможно познать с помощью инструментов науки. Свидетельства существования Бога должны приходиться к нам другими путями (например, в моем случае понимание началось с того, что я заглянул в собственное сердце), а окончательное решение может быть основано только на вере — не на доказательстве. Все еще во власти беспорядочных сомнений относительно того, куда же я иду, я вынужден был согласиться, что стою на пороге перехода к религиозному мировоззрению, к вере в Бога.

Казалось невозможным ни шагнуть вперед, ни повернуть назад. Много лет спустя мне попался на глаза сонет Шелдона Ванаукуена, в точности описывающий мою дилемму. Вот его заключительные строки:

Меж вероятным и доказанным — провал.
 Страшась прыжка, стоишь оцепенело,
 Но исчезают позади остатки скал,
 И вот уж камень под ногами задрожал.
 Одно спасенье — прыгнуть в Слово смело
 И мир узреть, где прежде слепо ты блуждал¹.

Долгое время я стоял в нерешительности на краю этого зияющего провала и в конце концов, не видя другого выхода, прыгнул.

Как ученый может придерживаться подобных взглядов? Не являются ли многие из религиозных постулатов несовместимыми с подходом, вы-

¹ S. Vanauken. A Severe Mercy. New York: HarperCollins, 1980. P. 100. (Перевод И. Череватой, см. Льюис Клайв Стейплз. Любовь. Страдание. Надежда. Притчи, трактаты. — М.: Республика, 1992.)

ражаемым словами «Предъявите мне факты!» и обязательным в занятиях химией, физикой или медициной? Открыв двери своего сознания для веры в Бога, не обрек ли я себя на внутреннюю войну мировоззрений — войну не на жизнь, а на смерть, которая может закончиться только полной победой одной из сторон?